

Александр Серафимович

Сопка с крестами

Серафимович Александр

Сопка с крестами

Александр Серафимович Сопка с крестами

1

Что бы ни делала, смеялась ли, или шла по улицам, болтала в гостях, читала, или открывала щурящиеся от утреннего света глаза, всегда один и тот же постоянный, не теряющий своей болезненной остроты, не ослабляемый временем вопрос вставал: а он?

Покрывалась земля снегом, белели крыши, верхушки фонарей... а он? Стояли в цвету яблони, пахло зацветающей сиренью, дымилась черная отдохнувшая земля... что-то с ним? Жгло полуденное солнце желтеющие поля, блестела знойным блеском река. Но над ним такое ли солнце?

Годы проходили неумолимо и безжалостно, все менялось, но все то же оставалось: "А он?"

Для других она была высокая, стройная девушка, со спокойными глазами, с большим, оттягивавшим головку узлом каштановых волос, себя она чувствовала упруго сжатой во круг одной мысли, одного представления.

Но никогда не могла она представить его

себе таким, каким он должен был быть теперь: выбритая наполовину голова, серый халат, тупо и мертво звучащее железо... Представлялся он, как тогда, стройным и подвижным, открытое, смелое лицо и молодые, полные жизни глаза.

Уже три года... Становилось страшно, что так же пройдет вся жизнь. Каждый день убегал, заполненный тысячами забот, дел, разговоров, мыслей, улыбок, ничего не изменяя.

Раз в год или в два она получала от него несколько строк. Это был маленький серый клочок плохой, почти оберточной бумаги, с вкрапленными кусочками соломы, с пушисто и неровно оборванными краями, захватанными, со следами пятен от пальцев. Должно быть, через много тайных рук проходил этот клочок, прежде чем попасть в конверт и на почту.

Часами глядела она на этот клочок, и странно было, что светит солнце, стоят дома, мчатся экипажи, что жизнь льется, равнодушная и слепая, как будто не было этого серого, измятого, тщательно расправленного клочка.

Несколько сухих и холодных строк - бегой, знакомой рукой. Он говорил, что здоров, просит не беспокоиться и - главное - жить, жить своей полной жизнью, не заботясь о _нем_. И не было в них ласки, нежности, намека любви. И эти сухие короткие строки звучали, как похоронный звон...

Уходили дни, месяцы, годы, принося свои заботы, дела, интересы, и все то же жило болезненное, бессознательно-смутное воспоминание.

2

Нет водоема, который бы не иссяк, нет гор, которые не были бы размыты, нет раны, которую бы не затянуло.

Молодость просила счастья, ласки, любви; светило солнце, и весна приходила каждый раз новая, непохожая.

Прошлое тускнело, как далекие очертания покидаемого края, жизнь несла только настоящее.

И голоса товарищей, смех, повседневные дела, милые, ласковые глаза, мысли, книги - все оплетало невидимой и прочной паутиной.

Бурлил самовар, сидели вокруг стола с молодыми лицами. Звучал смех, или загорался спор.

- Вы висите в воздухе...

- Нет, это вы висите в воздухе с вашей оторванностью от народа, от русского народа, от индивидуальности, от национальных особенностей народной жизни...

- На мужике держится весь уклад рабства и угнетения.

- Господа, а из Акатуя побег...

- Да, да, постойте-ка... у меня письмо оттуда...

- Ну-у?! Когда?.. Каким образом?..

- Да уж с неделю... один из ссыльных привез...

- Что же вы раньше-то... что же молчите?.. читайте.

- Читайте, читайте!

Сосредоточенно достал бородатый из бокового кармана неуклюжий, серый, в несколько раз сложенный и мелко исписанный лист, осторожно разложил на столе, как будто это была страница, вырванная из священной книги, и начал хриповатым, глухим,

но везде отдававшимися голосом:

"...нет, милые друзья, не надо утешений, надежд, подбадриваний. Какие бы слова ни говорить, какие бы ни приводить соображения, как бы ни изменялись события, все холодно и спокойно покрывается: "Но ведь вечная!.." В окно мне смотрит кусочек неба да белет вершина сопки, а на ней чернеют кресты: туда таскают окончивших срок. И мой срок кончится там. И для меня одна дорога - только туда... Но я одного прошу, умоляю: ничего не говорите Кате. Пусть она живет, пусть любит солнце, счастье, жизнь. Ее образ я ношу в сердце своем днем, ночью и засну последним сном с ее именем. И когда смертельная, пожирающая тоска наваливается и я хочу убить себя, я вспоминаю ее милые спокойные глаза, и... живу. Зачем?"

Лежали, навалившись грудью на стол, не спуская глаз с чтеца, сбившись тесной кучей, придерживая дыхание. Но отдельно от всех из темного угла сверкала пара глаз. Как будто не было человека, не было платья, рук, прически, не белело лицо, только играли фосфорическим блеском ни на секунду не тухну-

щие глаза. Горячечным блеском глядели они поверх голов, поверх чтеца, поверх громадных пространств, туда, где немо, неподвижно и мертво ожидала сопка и чернели кресты.

Тихонько встала, оделась и вышла. Ничего нельзя было сказать нового, уже ничего нельзя было добавить. Кто-то мертвыми, холодно-синими губами сказал: "Аминь". Сопка с чернеющими крестами...

Так вот почему суровы и коротки были его письма к ней, вот почему не вырывалось ни одной жалобы, ни стоны, - мертвые оставляют жизнь живым.

И она оглянулась и вздохнула вздохом облегчения... Все остановилось: солнце, люди, экипажи, шум улиц. Уже не придет весна обновляющей новизной. Жизнь остановилась на роковых словах недочитанного письма.

3

Она не знала, как устроится, как будет действовать, не было никакого определенного плана, но стук колес под полом, убегающие столбы, поля и далекий горизонт говорили, что с каждой минутой, с каждой секундой сокращаются тысячи верст, которые отделяют

от него.

Проходили ночи, томительные, долгие, с колеблющимся, неверным полумраком, с мерцающей свечой, с двигающимися по сонным лицам, покачивающимся стенкам и потолку тенями, с немолчным говором колес. Проходили дни еще более томительные, с несвязными дорожными впечатлениями и разговорами, с забывающимся гулом и стуком, к которому привыкло ухо и который ощущался только в молчании, когда поезд стоял на станциях. А впереди лежали целые недели и тысячи верст пути.

И среди скучного однообразия одним немеркнущим представлением упрямо стояла сопка с крестами. Угрюмая, одинокая, она заслоняла будущее, прошлое, заслоняла мысли, соображения, предстоящие неодолимые препятствия, стояла, заслоняя небо, одна во вселенной, молчаливая, немая, с непокрытой тайной.

Поднимала глаза, с изумлением глядя на привычно проходящих кондукторов, на потные лица пассажиров, прислушивалась:

- ...да-а, святитель Прокопий лежит в самой

дальней пещере. Пять годов назад была, к ручке прикладывалась, а нынче пришла, ручки уже нету, почернела, земле предалась...

- Земле предалась...

- Земле, стало быть, предалась!..

И покачиваются подвязанные платками головы, и глядят наивно, тупо внимательные бабьи лица. Лавры, монастыри, монахи, золотящиеся при закате кресты - все это встает огромной громадой чудовищной жизни, которая клубится, развертывается и творит свое, в которой нет места сопке с крестами.

Поезд катился среди равнин и лесов, через реки и луга, между гор, обрывов, через ущелья и перевалы, и казалось, что он несется в другую сторону, что расстояние все больше и больше ложится между ним и сопкой.

Но когда носильщик снес вещи на вокзал небольшого городка в самом сердце Сибири, усталость и равнодушие вдруг охватили неодолимой сонливостью.

В крохотном номерке нечистой гостиницы спала крепким, тяжелым сном, а когда просыпалась, все те же глядели в окна деревянные крыши домов, все те же тянулись по бокам

улиц деревянные тротуары, все так же хмуро, ровно и серо висело серьезное, молчаливое небо. И люди были чужие, и прислуга, подавая самовар, как бы говорила: "Нам все равно..."

Сопка с крестами затерялась и пропала. Со всех сторон стояло чуждое, молчаливо-враждебное. И надо было начинать, и жизнь потянулась.

Обмахиваясь веером, она сидела в цветнике нарядных дам и девиц, и красная роза дрожала на ее груди. Было, как всегда бывает на балах: мягкие звуки музыки, много света, воздушные пляски, декольте, цветы, фраки, мундиры, и бальные, праздничные лица, так же обязательные, как и роскошные платья. И, положив руку на черное плечо и слегка отвернув голову, шла в мягком, томительно медлительном танце, и зал, пестреющий цветными красками людей, медленно плыл по огромному кругу.

К ней то и дело подходили во фраках и мундирах, и она много танцевала, и много завязывалось новых знакомств, и всем отдавала милую улыбку, и спокойно и грустно гля-

дели глубокие черные глаза.

В шуме и пестроте бальной жизни фразы принимали иной, больший, чем содержали, смысл, лица казались значительнее, и временами боязливо вспыхивало сознание, что, быть может, это и есть настоящая жизнь, быть может, железный порядок вещей требует пользоваться жизнью таковой, какой она дается, - ни молодость, ни время не ждут.

Но когда возвращалась домой и, полураздетая, с поникшей головой, задумчиво стояла над кроватью, медленно и неуклонно слезала мишура с бальной музыки, с цветов, с яркого освещения, с бальных разговоров, с бальных лиц. Угрюмо и одиноко стояла сопка с крестами, заслоняя весь мир.

Но почему смысл жизни - в этом угрюмом, без красок, холодном, одиноком, полном тоски и отчаяния?

Почему?

Ответа не было. Молча и немо стояла сопка.

Жизнь складывалась из кусочков, без плана, без определенно поставленной ближайшей цели, с постоянным и смутным сознани-

ем, что в конце концов куда-то придет, устроится, что-то будет достигнуто, и она увидит дорогого человека. А дни уходили за днями, месяцы за месяцами, кончался год.

Она добилась известного положения в городе в качестве учительницы, и время все было заполнено. И опять постоянные заботы, дела, работа стали затуманивать память о нем. Тысячи нитей повседневно снова опутывали и оплетали. Она не давалась и по ночам, глядя в темноту, горько думала о своем бессилии что-нибудь предпринять и перебирала тысячи планов увидеться с ним, но приходил шумный, пестрый, требовательный день и опять все отодвигал и затуманивал.

В ее отношениях к людям была постоянная двойственность. Они забирали все внимание, силы, напряжение, но в шуме и сутолоке постоянно жило неосознанное ощущение, что это пока так себе, а настоящее где-то впереди, в будущем, подернутое смутной дымкой, точно раскинулся немолчный крикливый бивуак, который в конце концов снимется, и все кругом опустеет и замолкнет.

В этом городе, куда на зиму съезжалась

приисковая знать, где были многочисленные представители административных учреждений, зима проходила шумно и весело. Балы, вечера, рауты. И в их чаду она чувствовала силу женского обаяния. Это проснулось незаметно.

И в студенческой среде девушка чувствовала себя женщиной, но это тонуло в милых, мягких, товарищеских отношениях, тонуло в обилии умственной работы, мысли. Здесь же, среди золотой молодежи, среди тузов золота, важных чиновников, она чувствовала себя нагой, сильной только как женщина, как мраморная статуя.

- Но скажите, пожалуйста, что вас прельщает в этой беготне по метеорологическим станциям?

У него выхоленное лицо, мундир, крупные брильянты в перстнях.

Она чуть усмехается.

- Я же состою членом географического общества... мне поручаются научные работы.

- Ба!.. Наука!.. Наука для старцев, для тех, кто вышел в тираж, для вас - свет, удовольствия. Нельзя себя закапывать в запыленные

фолианты...

- Но ведь...

- Представьте же, если бы цветы стали рубить, как капусту, в борщ... Ха-ха-ха... Что было бы...

- А у меня к вам просьба.

Он предупредительно привстает и кланяется.

- Приказывайте!

Она смотрит, и ее черные, спокойные, дремлющие в глубине глаза говорят с тем особенным девическим цинизмом целомудрия, недоступности и чистоты: "Видишь, молода, крепка, стройна... упруга девичья грудь и нежны губы, еще не знающие поцелуя, но мне решительно до тебя нет дела, и ты не позволишь себе ни намека на вольность". И она чувствует, как этот немой, постоянно звучащий в ее фигуре язык раздражающе-упруго отделяет от нее мужчин, постоянно притягивая их к ней.

- Видите ли... как раз по поводу ненавистной вам науки.

- Для вас я готов сделаться ученым и мудрецом.

Глаза лукаво смеются.

- Ну-ну... не сразу... Мне необходимо совершить ряд поездок с научной целью. Но вы ведь знаете, как относятся в глуши к научным работам и наблюдениям, особенно если это женщина... вот даже вы...

- Помилуйте, вы не так меня поняли... напротив, меня чрезвычайно интересует... Словом, приказывайте, все сделаю, что в моей власти.

- Я попрошу вас, - она говорит спокойно-приказательно, - я попрошу вас... нельзя ли будет выдать мне открытый лист для поездки и... и маленькое... маленькое обращение в нем к властям большим и малым о содействии, чтобы помогли ориентироваться. Вообще ведь трудно, ничего не знаю...

Он подумал. У нее замерло сердце и почти не билось.

- Н-да!.. Надо будет вас представить губернатору. От него зависит. Я все устрою, - говорил он решительно и с таким лицом, как будто хотел сказать: "Видишь - для тебя я все делаю".

А она спокойно глядела глубокими глаза-

ми с таившейся насмешливой улыбкой в углах и как бы говорила: "Знаю, но мне решительно все равно, и между нами по-прежнему такое же расстояние..."

И эта особенная власть женской молодости бессознательно наполняла ее ощущением некоторой гордости и смутного пренебрежения и брезгливости к окружающим. Пока она молода и красива, обычные, обязательные рамки человеческих отношений странно для нее раздвигаются.

И она была представлена губернатору. Бодрый старик, с неизменным выражением своего особенного положения, любезно согласился на просьбу.

4

Снег сверкал и искрился. Он сверкал и искрился везде, куда доставал глаз: и по крутым увалам белевших сопок, и по лощине, и редко мелькая и падая в воздухе брильянтами. Скучно и сосредоточенно бежали гуськом лошади, выворачивая и поблескивая отбеленными подковами, пошатывая крупами, потряхивая думающими головами, бежали и думали свое, такое же однообразное, как эта

бесконечно бегущая, скрипучая дорога.

Мороз лежал на всем, густой, тяжелый, прозрачный, и снежные очертания были жгучи.

Молчаливая пустыня раздвигалась скупой, отовсюду волнисто загораживая снежными искрящимися линиями, и язык молчания спокойно и холодно говорил, что нет места здесь живому. Не дымились трубы, не темнели избы, стлался только иссиня-сверкающий снег. Да мелкой щеткой по белизне склонов темнели леса, но и там, должно быть, было пусто и мертво - ни зверя, ни птицы, ни дыхания.

Два человека чернели среди громадной, молчаливо думающей пустыни в кошеве [кошева - сани], быстро скрипевшей по снежной дороге.

- Ню-но, милая!..

Взмахивал кнутом, дергал вожжами, и мысли и настроения у него были такие же однообразные, как эта дорога, как бело встававшие и угрюмо загораживавшие горизонт с обеих сторон горы.

Женская закутанная фигура молчаливо встряхивалась и покачивалась на ухабах. Ты-

сочи мыслей, представлений, воспоминаний.

- Ямщик, скоро?

- Скоро, скоро, барышня, скоро... поспеем.

Усилием воли она отодвигала вздымавшиеся вокруг горы, и ей чудилась сопка с крестами, особенная, не похожая ни на одну гору в мире. И стояла она, огромная, таинственная, касаясь белой вершиной небес. И черною ратью покрывают ее кресты. Они густо чернеют, как лес, молчаливыми стражами потухших жизней, похороненных страданий.

Толчок, ухабы, сани прыгают, лошади все так же поматывают думающими головами, все так же холодно искрятся ослепительные сопки.

И вдруг что-то дрогнуло, и по сверкающим отлогостям метнулась в глаза живыми пятнами красная кровь. Кто-то гигантский разбрызгал ее по горам, и она густо окровавила холодные снега. Глаз, отдыхая, останавливался на бледно-розовых пятнах, которые теперь казались не кровью, а нежными чайными розами. Среди мертвых морозов, мертвых снегов, среди молчащей пустыни чудные розы говорили о далекой весне, о ласке тихо сверкаю-

щего теплого моря, о благоухании томящихся ночей.

И чудилось, что он ходит, улыбающийся, с ясным лицом, свободный, и радостно ждет ее, и розы устилают путь, душистые бледные розы. Он ждет ее, невесту свою, и больно и торопливо стучит сердце. Вырывается тихий вздох счастья, глаза полузакрыты. Полозья поют песню, тихо и радостно звучащую мелодию. Ах!..

- Ямщик, скоро ли?

- Скоро, скоро, барышня... Зараз вон за сопкой поворот... Поспеем. Все там будем, от своего не уйдешь...

Лошади по-прежнему покачиваются, обдумывают.

- Ямщик, что это красное по горам?

- Багульник, кусты, стало быть.

Только всего багульник. Нет роз, нет тихо поющего сверкания моря. Визжат полозья. Мороз, густой и тяжелый, лежит, иссиня-прозрачный, по лощине, по сверкающим очертаниям гор... Багульник, голые безлистые красные кусты багульника!..

Все просто, все так же страшно просто, как

там, в России, как в эти два года в сибирском городке, все просто, все на своем месте. Здесь стоит тот же железный порядок, которому подчинена вся жизнь.

- Вот и Акатуй!

Он показывает кнутом.

Она приподымается, она впивается горячечными глазами, впивается мимо полуразвалившихся, почернелых, как загнившие грибы, избушек нищей деревушки, впивается в сопку.

Но это самая обыкновенная, ничем не отличающаяся от других, занесенная снегом сопка, и десяток крохотных, игрушечных, покосившихся, полусгнивших, полуупавших крестов едва чернеет. Так просто, так обыкновенно и так страшно. Звон цепей, бледное, исхудалое, обросшее лицо... Все на своем месте, все в железном порядке.

Она тяжело вздыхает.

На самой вершине, вырезываясь на морозном небе, белеет благородный мрамор, в последних лучах золотится крест. Не памятник ли это бескорыстным порывам, не напоминание ли, что человеческое великодушие, лю-

бовь, самопожертвование молчаливо хоронятся в немой, холодной, равнодушной пустыне жизни?

Показывает кнутом:

- Барин похоронен, декабристом прозывается.

Полуразвалившиеся, слепые избышки позади. Вот и дом начальника тюрьмы свежий сруб, новая тесовая крыша.

Дальше в полуверсте рядами застроенных бревен смотрит в небо палисад тюрьмы. Едва видна из-за него длинная неуклюжая, приземистая крыша, как чернеющая спина допотопного животного, в тяжелых лапах которого в муке бьются люди...

Так просто, так обыкновенно!

- Господина начальника нету дома, они уехали. Они будут завтра утром. Вы пожалуйста в комнаты, я зараз велю самовар поставить.

"Ведь он здесь... здесь... всего сто шагов..."

И ей хочется рвануться, броситься, бежать туда, кричать из-за палисада, но вместо этого садится за накрытый стол и берет чашку горячего дымящегося чаю. Женщина с круглым

лицом в темном платье стоит возле, сложив руки и не спуская глаз с гостьи.

- Гляжу я на вас, из России вы... Как-то там теперь?.. И-и, боже мой, хоть бы одним, одним глазком посмотреть...

Слезинка тихонько сползает по щеке.

- Вы давно здесь?

- Четвертый год.

- Что же вы стоите? Садитесь.

- Нет, я постою... Нас презирают на таком положении.

- Вы служите?

- Нет... - она густо краснеет, - господин начальник взяли меня к себе... - И, отвернувшись и глядя в уже чернеющее густо надвигающейся ночью окно, говорит: - Я уголовная... Такое положение... Никуда не денешься.

А самовару все равно, он бурлит, бросает клубы пара или начинает петь тоненько и однотонно. Женщина стоит, темная, печальная, покорная. В комнате светло, уютно. В срубе стреляют бревна - на дворе крепчает мороз.

- Мальчонка у меня остался там, в России... Как забирали, трех годов был... "Мама, мама!.." Лапает ручонками... - Она рассказывает

с тихой, сдержанной страстью, с затаенной дрожью. - Румяный, чистое яблоко... Бывало, ночью проснется, лап, лап: "Мамка, ты тут?.." - "Тут, тут..." прикорнет и опять заснет, только носиком так печально подсвистывает: ти-и, ти-ти...

Часы бьют шесть, потом семь, а глухая ночь давно уж тянется, давно тянется под этот тихий печальный рассказ о далеком мальчике.

Самовар убрали. Темная женщина приготовила постель, пожелала покойной ночи и ушла. Девушка одна ходит по комнате. В трубе стреляет. Тут, сейчас за темнотой - он, милый, усталый, ждущий покоя... И сопка с маленькими покосившимися черными крестами ждет...

- Ах, ничего, ничего не выйдет!..

Хрустят тонкие пальцы.

В тоске, в смертном томлении она мечется. Все то же.

Набросив платок, осторожно и тихо выходит в темные морозные сени. Промерзшие окна глядят фосфорическими пятнами. Тишина, пропитанная тьмой и морозом.

Тихо полуотворила наружную дверь. По ногам тянет леденящий холод. Напрасно сияют глаза пробиться сквозь стену тьмы, непроглядная, она стоит непроницаемо. Невидим, но осязается потонувший в морозной тьме палисад, там - люди, там - он.

Зубы стучат неудержимой мелкой дрожью, трясутся колени, заоченели ноги, застыли руки, льется морозный холод, а она все стоит и смотрит во тьму сквозь щель приотворенной двери. По-прежнему мертво-тихо.

Тянутся минуты, может быть, часы, она не знает.

Нарушая густоту мглы, в черной глубине ее шевельнулось живое желтое пятно. Колеблясь, тусклое и мутное, как зарождающаяся жизнь, оно неровно и тихонько передвигается, и нельзя сказать, вперед, или назад, или в сторону.

Девушка, крепко вцепившись окостенелыми пальцами в холодный косяк, не спускает глаз с колеблющегося желтовато-мутного пятна. Кругом мертвенная пустота и первозданный холод, там - трепетный зародыш жизни и дыхания. И она с замиранием сердца сле-

дит, - вот-вот потухнет.

Кончено... мрак, пустота, холод...

Снова слабо брезжит, и желтовато колеблется, и борется с надвинувшейся отовсюду черной слепотой ночи.

Теперь ясно можно различить: неровно, несмело подвигается сюда. Только отчего с такой болью, с такой смертной мукой толчками бьется сердце?.. Если б перестало биться, если б потухла тоска!..

Огонек лучится, и по снегу скользит желтовато озаренный кружок.

Люди.

Никого не видно, но нет сомнения - они идут сюда. Дозор, или патруль, или идут с докладом к помощнику.

Огонь фонаря от хоть бы колышется, прыгает, нервно скользя светом по снегу. Скрипят шаги. Ближе и ближе.

Впереди вырисовывается чернее мглы фигура. Покачивается на ходу тяжело и злобно. Лицо, грудь, ноги и руки выступают плоской чернотой, точно вырезаны из картона. Но сзади фонарь освещает серую спину, затылок, мохнатую папаху и колыхающийся на плече,

поблескивающий штык. Второй идет такими же большими тяжелыми, сердито топочущими скрипучий снег шагами. В руках фонарь. Свет его старается все заглянуть в лицо, должно быть, угрюмое, в глаза, должно быть, суровые и мрачные, но никак не может достать и только скользит по серой груди шинели, по вспыхивающим пуговицам, по обшлагу рукава.

Третий...

- А-ах!!

Крик, пронзительный, звенящий, вырывается из груди ее, колышет холодную густую мглу, разносится среди ночи, будит спящих, зажигаются огни, бегут люди... нет, это - беззвучно шелестят сухие губы, как свернувшиеся от мороза листья, и кругом мертво и черно.

Он идет, слегка нагнув голову, и как раз таким, каким она его не могла себе представить, - в длиннополом арестантском халате, с обросшим, бледным, исхудалым лицом. Милые знакомые, незабываемые черты. И чтоб помочь ей, фонарь, колеблясь, взглядывает временами ему в лицо желтым пятном... нос с горбинкой, грустные, усталые глаза...

Она впивается ногтями в прокаленное морозом дерево... Жених идет к невесте, розы алеют по сверкающей белизне, поет тихое сверкание моря о благоухании томящих ночей... Нет, это слегка позванивает железо кандалов, и он поддерживает их рукой.

Из-под ногтей брызжет кровь...

Они проходят в двух шагах от крыльца, верно, слышат биение ее сердца, проходят так мучительно близко, что она кричит: "Милый!" Нет, это крик истерзанной души, истомленного любящего сердца, а губы только шелестят, как свернувшиеся от мороза сухие листья: "Я - здесь..."

Они останавливаются во тьме, шагах в десяти, странной таинственной группой, и фонарь, шевелясь, выдвигает из тьмы то руку, то бородатое лицо, то ружейный приклад, придавая еще больше фантастичности этим людям, так таинственно вне тюрьмы в неурочный час стоящим среди чуть мерцающего снега.

Подняли фонарь, и, скользнув в темноте, легла полоса света по смутно уходившим вверх столбам, и вверху были перекладыны.

В щели приотворенной двери в ужасе застыли глаза... "Помогите!.. постойте!.."

Он подымается по лесенке, подобрав халат и поддерживая одной рукой кандалы, неверно озаряемый фонарем. Люди в серых шинелях сурово стоят тут же со штыками наготове, ждут... Минуты, вечность смертной тоски... _Он_ вздрагивает и на секунду оборачивается по направлению застывших глаз. Все - молчание, все - тьма, потом подымается еще на две ступеньки.

Полоса света передвигается. Смутно белеют приборы в метеорологической будке.

Он спускается, и они идут назад в молчании, с неровно и скупно освещающим фонарем в том же порядке, впереди солдат, надзиратель, потом _он_, в халате, с усталыми глазами, опущенной головой, и солдат замыкает шествие. Они проходят в двух шагах от крыльца, тихо позванивают цепи. Потом фигуры становятся чернее, смутнее, сливаются и тонут в холодной черноте, только фонарь колышется и светит. Потом - смутное, неясное живое пятнышко среди океана мрака, и... все.

Она перестала дрожать и стояла, не чув-

ствуя застывших рук, ног, не отрываясь, глядела в бездонную тьму, не отрываясь, слушала, но было мертво-тихо.

Отдирает заоченевшие руки, дует на деревянные пальцы, тихо с печальным морозным скрипом притворяет дверь и входит в чужую, молчаливо освещенную лампой комнату.

Девушка ходит, ходит, ломает негнущиеся деревянные пальцы, бормочет, останавливается и долго смотрит в белесо-темное обмерзшее окно. И опять ходит, жестикулирует или падает в подушку лицом и кусает ее, чтобы заглушить рвущиеся рыдания, и все больше и больше смачивается слезами полотно наволочки.

Нельзя кричать, нельзя проклинать людей, судьбу, и она ходит, ходит. Все совершается в железном порядке, и время течет с тою же железной медлительностью и необходимостью.

Одиннадцать, двенадцать... три, четыре, пять часов, все - ночь, все тьма. И не смыкаются глаза, нет усталости, нет забвения. С железной необходимостью надо жить, надо по-

нимать, надо чувствовать.

- Господин начальник приехали и просят вас к ним.

Брезжит мутное, промерзшее, иззябшее утро. Она торопливо взглядывает в зеркало и отшатывается: глядит белое, чужое лицо.

Огромное усилие, и она спешно плещет студеной водой, поправляет прическу, капризно выбивающийся бант на шее, и тогда из зеркала глядят сияющие глаза, ибо чисто омыты слезами, на щеках алеют розы тоски и надежды, и длинные печальные тени черных ресниц.

И она входит, стройная и сильная, с знакомым напряжением женского обаяния.

Начальник стоит у стола с бумагами, с солдатским, неуклюже красным лицом, в мундире и с несходящим выражением строгости, непреклонного, раз заведенного порядка. Но когда она подходит, и он жмет маленькую стройную руку, и в его глаза глядят сияющие из глубины глаз звезды, и алеет на щеках румянец, к выражению на его лице, что он строг и неукоснителен по службе, что не может быть речи ни о каких отклонениях от за-

веденного порядка, что здесь - каторга, и это так и понимать надо, - к этому раз навсегда застывшему выражению примешивается новое: что она появляется среди этого гиблого места, как цветок среди пустыни, и что он ее внимательно слушает.

- Чем могу служить? Садитесь, пожалуйста.

"Да, я понимаю, - говорит она свободными легкими движениями, - я понимаю, здесь каторга... И все-таки я красива и молода..."

- Я здесь в качестве члена географического общества. Видите ли... Вот открытый лист.

Он берет протянутую бумагу и читает, не то удивленно, не то внимательно поднимая брови. И постепенно привычное выражение слегка меняется, и в него входит новое выражение, что и она с этого момента включается в тот неуклонный порядок, представителем и слугою которого он здесь является.

- Так-с... содействие... Но чем я могу быть полезен?

- Среди других моих научных наблюдений... мы... - она подыскивает слова, - мне поручено, между прочим...

Натянутая струна тонко звучит, каждую секунду готова лопнуть...

- ...в данный момент мне необходимо собрать данные и наблюдения метеорологических станций, такие данные, которые не укладываются в обычные цифровые отчеты... Между прочим, меня чрезвычайно интересует вопрос: производятся ли у вас глубоко почвенные термические измерения? Ведь у вас тут рудники и метеорологическая станция?

Официальное выражение понемногу сползает с его лица, глазки сделались маленькими и глядят щелочками.

"Кончено!.." - бьет молотом... Застывшая темная ночь, длинный арестантский халат, поникшая голова, усталые печальные глаза... "Кончено!.." Она опускает ресницы.

В комнате дрожит смех, раскатистый, веселый.

- А не боитесь вы ездить одна? А?

- Чего же бояться?

- Н-но... Все-таки... Нда-а. Пойдемте-ка чай пить.

Он подымается, ловко щелкает каблуками и пропускает ее вперед. Она идет, как сом-

намбула, среди мертвого холодного тумана... "Ручка земле предалась... земле, земле предалась... почернела... рассыпалась..." Ночь и усталые печальные глаза... А на губах улыбка, в глазах звезды, и на щеках играет румянец...

- Я вам должен откровенно сказать: в метеорологии смыслю столько же, сколько сазан в Библии... Хе-хе-хе!..

- Но позвольте, у вас же метеорологическая станция, и вы заведуете ею.

- Вот то-то, что не заведу, а заведует тут политический каторжанин... вечный.

Она смотрит на него широко раскрытыми глазами, как будто слово "вечный" слышит впервые и впервые понимает весь ужас его.

- Два раза в день, утром и вечером, под конвоем его водят в будку тут в десяти шагах. Так вечно и будет ходить, десять, двадцать лет...

Десять, двадцать, тридцать лет - ночь, поникшая голова, усталые глаза, фонарь...

Ей трудно дышать, но по-прежнему улыбка на губах и играет румянец.

- Его превосходительство господин губернатор также в том ученом обществе?

- Как же. Подпись его вы же видели. Он - почетный член.

- А не знавали ли вы чиновника особых поручений при губернаторе, Арсеньева?

- Да, знакома... На вечерах танцевали вместе... Отлично танцует.

- Он, изволите ли видеть, сватался за племянницу моей свояченицы... С положением человек...

Они степенно и мирно беседуют об общих знакомых, о фаворитах губернаторши, и надо пить чай с печеньями, которые тут - роскошь, и нельзя сказать, нельзя напомнить о том, что наполняет все существо. Надо предоставить событиям естественному течению.

- Вы когда же думаете обратно?

- Сегодня же думаю... От вас зависит, как дадите нужные сведения. Я еще хотела спросить, не делаются ли у вас геологические изыскания при прохождении рудников...

- Но я, ей-богу же, ничего не понимаю... - взмолился полковник, подымая плечи. - Да вот я сейчас прикажу привести арестанта, заведующего... Эй, кто там?

Он похлопал в ладоши. Вошел надзира-

тель.

- Распорядитесь, чтоб привели номер тринадцатый... да с усиленным конвоем, - кинул он вдогонку.

Комната, окна, стены, самовар, стол куда-то далеко отодвинулись, сделались маленькими и неясными; о чем-то говорили, и голоса ее и его доносились издалека, слабые и тонкие. Надо было крепко сидеть и делать целесообразные движения, и нужно было продолжать говорить и впопад отвечать, и это странное состояние отделенности, отодвинутости от вещей, от реальной обстановки тянулось медленно и страшно.

И вдруг оборвалось стуком сапог и замелькавшими в глаза серыми шинелями.

Все произошло как-то уж очень просто. Сначала шум и топот, потом шесть пар солдатских глаз, шинели, приклады и...

Она не смела поднять глаз, а когда подняла, - в аршине от ее лица изумленно глядело знакомое, обросшее и теперь еще более исхудалое лицо, чем тогда, ночью.

Но что было самое страшное, это - смертельная белизна, которая стала его покры-

вать. Побелел лоб, выступили на белизне большие глаза, видно было, как стали белеть заросшие щеки, и тихо, чуть заметно вздрагивали побелевшие губы.

"Упаду!.."

И она чувствовала приторную слабость, охватывавшую ноги, руки и подступавшую к сердцу, тихо и редко бившемуся.

"Упаду, и все кончено!.."

И в смутном тумане прозвучал голос начальника. До нее дошел только зловецкий звук слов, без содержания. И только секунду молчания спустя она поняла, что он просто сказал:

- Вот член ученого общества, состоявшего под покровительством высочайших особ, просит дать ей некоторые указания... Садитесь.

Подвинулась по полу табуретка, и по обеим сторонам ее обвисли длинные полы серого халата, а по полу чернели плохо обметенные от снега шесть пар громадных неуклюжих сапог.

Опять несколько секунд молчания.

- Вам позволите чаю?

- Пожалуйста.

Знакомый, невыразимо милый голос. В комнате раздражающе стоит высокое, торопливо-звонкое треньканье. Ах, это носик чайника трепетно бьется о край стакана. Она на минуту отнимает чайник и снова пытается налить, и снова звонкое треньканье. Нет, она не может налить ему.

Она ставит чайник на стол, глядит прямо в лицо и смеется. И он улыбается. И с обоих разом спадает удручающая, давящая тяжесть, и они начинают говорить друг с другом быстро, страстно, совершенно забыв обстановку, опасность быть каждую секунду открытыми. Они говорят о температуре, о давлении, о гигроскопических измерениях, о геологических напластованиях в рудниках, но в этом странном, причудливом, изломанном и непонятном разговоре они говорят о солнце, о счастье, о любви, о свободе, о покинутых, о друзьях, о погибших.

Начальник закуривает папиросу и смотрит на конец своего носа. Чернеют неуклюжие сапоги, тупо, как стена, смотрят шесть пар глаз.

Мысль, что он - тут, возле, что она гово-

рит с ним, слышит звук его голоса, смотрит в его милые, грустно радостные глаза, охватывает ее безумием... Броситься к нему, охватить его, обнять, целовать, гладить дорогое лицо, да ведь это - закон, необходимый, ненарушимый закон мира, нарушение которого - преступление, проклятие, которое ничем никогда не стереть. И она сидит в полуаршине от него и говорит:

- Но ведь рудники прорезают же водоносные пласты?

Какая-то противоестественная сила с уродливой, бессмысленной, отвратительной головой стоит между их молодостью, их страстью, их яркой жизнью, стоит и слепо смотрит на обоих, смотрит неуклюжими, черными, плохо обметенными от снега сапогами.

И в комнате звенит странный, чужой, неуместный женский смех. Это она смеется, смеется неудержимо, нелепо, понимая, что губит последние минуты. Начальник с отвислыми мешками под глазами поднимает брови, как уши у бульдога. Тупо смотрят неуклюжие сапоги.

...Снег сверкает и искрится. Он сверкает и

искрится везде: по отлогостям гор, по лощине и изредка падающими брильянтами в воздухе. Сосредоточенно думают бегущие, потряхивающие головами лошади все одну и ту же думу, и визжат скрипучими голосами все одну и ту же песню быстро скользящие полозья, песню о смерти, о железе, о радости жизни, о любви, о тихом сверкании моря, о железном порядке мира, в котором всему свое место. И розы кровавеют по ослепительной белизне гор.

1907